

The book cover features a dark, textured background with intricate, repeating patterns of stylized leaves and flowers in shades of blue, green, and brown. Interspersed among these patterns are detailed illustrations of various butterflies and birds, including a prominent blue and white bird in the center and several colorful butterflies in different poses. The overall aesthetic is rich and detailed, typical of a nature-themed book.

ГАЛИНА
ГАМПЕР

ИСТОРИЯ
ЗАБЛУДШИХ

Галина Гампер

**История заблудших.
Биографии Перси Биши
и Мери Шелли (сборник)**

«Геликон Плюс»

УДК 84.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

Гампер Г. С.

История заблудших. Биографии Перси Биши и Мери Шелли
(сборник) / Г. С. Гампер — «Геликон Плюс»,

ISBN 978-5-9906596-8-1

Книга включает два романа: жизнеописание великого английского поэта Перси Биши Шелли («Дух сам себе отчизна») и романтизированная биография его жены, создательницы легендарного Франкенштейна, беллетристки Мери Шелли («История заблудших»). Биографии похожи на авантюрный роман. Тут и тайное венчание, не оцененная при жизни гениальность, бесконечная угроза долговой тюрьмы, постоянные скитания, вечное бегство, трагическая гибель великого поэта, нелегкая судьба Мери после смерти мужа: бедность, предательство близких, долгожданный, но очень краткий период покоя.

УДК 84.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-9906596-8-1

© Гампер Г. С.
© Геликон Плюс

Содержание

Дух сам себе отчизна...	6
Предисловие	7
Вступление	10
I	10
II	11
Глава I	13
1	13
2	17
3	20
4	22
5	26
6	27
Глава II	30
1	30
2	32
3	33
4	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Галина Гампер
История заблудших. Биографии
Перси Биши и Мери Шелли

© Г. Гампер (наследники), 2016

© «Геликон Плюс», оформление, 2016

Дух сам себе отчизна...

Жизнь, творчество, нецененная гениальность, бегства, тайные венчания и ранняя трагическая гибель великого поэта

Предисловие

В одном из рассказов Гильберта К. Честертона о патере Брауне описывается история о том, как молодого красивого коммерсанта принимают за поэта, любовника героини, и не пускают в гостиницу, между тем как она сидит в зале ресторана с невзрачным лысеющим человеком, действительно поэтом. Но никто, кроме мудрого патера Брауна, не догадывается об этом.

Честертон отмечает, что миф о непременной красоте и молодости поэтов был порожден великими английскими романтиками Перси Биши Шелли и его старшим другом лордом Байроном. Действительно, о строгой мужественной красоте лорда ходили легенды. А хрупкого длинноволосого голубоглазого Шелли называли то рыцарем эльфов, то духом воздуха Ариэлем, то «ангелом, машущим крыльями в разреженном воздухе небес».

Теперь о возрасте: Шелли погиб 8 июля 1822 года, накануне своего тридцатилетия. Байрону, присутствовавшему на его кремации, оставалось прожить всего два года. Умер он 36 лет.

В 25 лет прервалась жизнь их младшего собрата, юного романтика Джона Китса.

Поэма «Адонаис», написанная Шелли на смерть Китса в 1821 году, стала вдохновенной эпитафией самому автору.

Русские современники английских романтиков также трагически рано уходили из жизни: Пушкин, Дельвиг, Лермонтов, Веневитинов...

Эти роковые совпадения до сих пор не получили никакого объяснения.

Шелли, пожалуй, как ни один другой поэт воплотил в себе еще один романтический миф о поэте-безумце. Необходимо отметить, что романтическое безумие – не психиатрический диагноз, а ребяческое, целостное восприятие мира. Поэт-романтик входит в мир с открытой душой, широко распахнутыми глазами – все окружающее прекрасно и радостно. Вспомним строки Е. А. Баратынского из стихотворения «Последний поэт»:

Цветет Парнас; пред ним, как в оны годы,
Кастальский ключ живой струею бьет;
Нежданный сын последних сил природы –
Возник Поэт: идет он и поет.

Воспевает, простодушный,
Он любовь и красоту.
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету...

Именно это синтетическое мировосприятие делает Шелли не просто автором множества поэм, прекрасной лирики, философских трактатов, а творцом собственной вселенной – со своей космогонией и географией, историей и мифологией, со своей символикой и моралью. Обычно, прорываясь сквозь страдания, проходя через катарсис, поэт воссоздает мир гармонически прекрасный, способный осчастливить своих обитателей. Прежде всего это знаменитая драма Шелли «Раскованный Прометей».

При экстравагантном поведении, чему в книге будет масса примеров, умение при работе сосредотачиваться до полного выпадения из действительности особенно часто ставило Шелли в комические положения; способствовали этому и неординарная одежда, вызывающе длинные волосы, потребность постоянной перемены мест, а также его необъяснимые исчезновения и внезапные появления. При том – мотивация поступков Шелли всегда была абсолютно рациональной.

С ранней юности и до конца жизни он оставался борцом за торжество высших моральных принципов, действовал последовательно, начиная с примитивных прокламаций, которые он распространял в многострадальной Ирландии, и кончая глубоким философским содержанием одного из наиболее зрелых своих трактатов «Защита Поэзии», где он утверждает: «Поэзия – самая верная вестница, соратница и спутница народа, когда он пробуждается к борьбе за благодетельные перемены».

По словам Байрона, Шелли всегда следовал своим принципам самым буквальным образом, особенно это касалось его отношения к женщинам. Будучи восторженным учеником знаменитого английского философа-утописта Уильяма Годвина, не раз проштудировав его главный труд «Политическая справедливость», он был убежден учителем, что брак заключается любовью и расторгается ее исчезновением, а все связанные с этим церковные обряды нелепы, как нелепы кандалы, если они надеваются добровольно.

Именно так и поступил Шелли, страстно влюбившись в 16-летнюю Мери Годвин, девушку равную ему по интеллекту, впоследствии ставшую известной писательницей. К этому времени его первый брак уже духовно исчерпал себя, и Шелли считал, что никаких обязательств, кроме дружеских и материальных, у него перед первой женой – Харриет нет, даже несмотря на то что она ждала второго ребенка. Харриет, терпеливо выслушав все, как казалось ему, бесспорные доводы, и не подумала дать мужу развод. А его кумир Годвин, к великому удивлению Шелли, отказал ученику от дома. Возможно, Годвин впервые задумался о том, что его смелые философские выкладки теряют смысл, когда дело касается судьбы его собственной дочери.

Шелли пришлось, похитив любимую и любящую Мери, увезти ее на континент, где уже никакая погоня не вправе была разлучить любовников. С первой же остановки в Швейцарии Шелли написал Харриет письмо с искренним приглашением присоединиться к ним. С точки зрения обыденного сознания, это предложение, конечно, кощунственно, как и восприняла его Харриет, но для романтического сознания в таком сожителстве не было ничего странного.

После нескольких месяцев скитаний по Европе беглецы вернулись в Лондон. Но семья Годвина, как и семья Шелли, а главное Дружеский литературный круг, за небольшим исключением, отвернулись от двоеженца.

Итак, исключенный из Оксфорда за атеистический трактат, преследуемый литературной критикой, буквально травившей его, похоронив первенца от своего незаконного брака, находясь в крайне затруднительном материальном положении, Шелли не видел другого выхода, как снова покинуть Англию. На последние пять лет, проведенные в Италии, приходится зрелость поэта. Это годы частого общения с Байроном. Отношения их сложны и не однозначны – в чем-то они единомышленники, в чем-то оппоненты. Несходство литературных принципов не мешало Шелли восхищаться поэтической мощью Байрона, а Байрон, равнодушный к творчеству Шелли, как, впрочем, и всех остальных современных поэтов (исключение составлял лишь поэт Крабб), преклонялся перед энциклопедическими познаниями друга, его альтруизмом и благородством. О поэзии Шелли Байрон отзывался положительно в основном тогда, когда защищал младшего друга от возводимой на него напраслины. Но больше всего поэтов сближало сходство политических убеждений.

Несмотря на короткую и бурную, полную приключений жизнь, Шелли сумел стать одним из образованнейших людей своего времени. Он жил, как писал – с той же интенсивностью и чрезмерностью, с той же щедростью и благородством.

Эпоха романтизма как раз приходится на период, когда Европа, потрясенная революцией и войнами, была очень нестабильна. Идеалы Просвещения исчерпаны, и Романтизм нащупывает новые пути в европейской культуре, ища выход из кризиса. Ситуация во многом тождественна нашей сегодняшней, и в книге неоднократны обращения к нашему времени, параллели с ним. Кстати, с русскими писателями Шелли сближает то, что целью литературы он считал

перевоспитание и совершенствование человека. С годами Шелли все настойчивей выдвигает идею – только триединство красоты, истины и любви спасет страждущее человечество. Вслед за ним Достоевский сказал: «Красота спасет мир».

Итак, перед читателем – жизнь и смерть, похожие на насыщенный авантюрный роман: скитания, бегства, погони, тайные венчания, постоянная угроза долговой тюрьмы, мало кем оцененная при жизни гениальность и, наконец, трагическая гибель в водах Средиземного моря во время внезапно налетевшего шторма. Таков рок – поэт погиб в той стихии, которую больше всего любил и которая всегда была для него источником вдохновения. Существует версия, что на яхту Шелли напали местные рыбаки с целью ограбления, перепутав ее с яхтой известного богача лорда Байрона.

«Богов любимцы долго не живут», – с горечью процитировал себя Байрон в письме к Вальтеру Скотту.

Только с начала 30-х годов у читающей британской публики зародилась, хотя и еще весьма робкая, мысль, что П. Б. Шелли находится в пятерке величайших английских поэтов. К 40-м годам эта мысль упрочилась в умах большинства. Неожиданным, непредсказуемым фактом стал огромный рост популярности Шелли среди рабочих в период чартистского движения – с середины 30-х до середины 40-х годов XIX века. Конечно, в круг чтения рабочих вошли далеко не все его стихи и поэмы. Но «Королева Мэб» стала «Библией чартизма», а «Песня людям Англии» – его гимном.

С начала 30-х годов можно отметить и самые первые упоминания о Шелли в России, тогда его имя переводилось как П. Б. Шеллей, а в русской печати главным образом он упоминался в связи с его великим другом Байроном. Слава Байрона в России на целое десятилетие затмила Шелли.

Должна с горечью отметить, что и до сих пор у нас нет ни одной художественной биографии Шелли, хотя есть критические, научные статьи и более или менее удачные стихотворные переводы.

Это относится и к полному собранию переводов Шелли, предпринятому Бальмонтом и вышедшему в 1907 году.

Но в России Шелли так пока по-настоящему и не известен.

Вступление

I

По строгим правилам итальянского карантина труп утонувшего должен быть сожжен на месте, где его нашли.

Все заботы по устройству кремации взял на себя преданный друг Шелли Эдвард Джон Трелони; он много часов провел возле тела поэта, выброшенного волнами на берег только спустя месяц после того, как «Дон Жуан», маленькая прогулочная яхта, потерпел крушение в Неаполитанском заливе. Он нанял людей, сложивших погребальный костер, нет, два костра – 15 августа кремировали Эдварда Эллеркера Уильямса, старого приятеля Трелони, капитана яхты. Это он, Трелони, свел Шелли с Уильямсом полтора года назад, или – судьба? И вот теперь он ставил точку во фразе, начатой им – или не им? – тогда.

На яхте был юнга, Чарльз Вивиани. Стать бы ему отважным английским моряком, современником великой эпохи в истории флота – перехода от паруса к машине, но неумолимая судьба великого поэта подмяла под себя и эту едва начавшуюся жизнь.

Шелли сожгли на следующий день, шестнадцатого.

Вероятно, костер для того, чтобы сжечь человека, нужен огромный. Вероятно, полуголые итальянцы, приморский сброд (кстати, сколько их было – двое, трое?), складывая костер, не особенно скрывали свою радость по поводу хорошего заработка – богатые англичане платили щедро. Жизнерадостные шекспировские могильщики.

Трудно оторваться от этой картины – вот они тащат тело. В рукавицах? Или голыми руками? А потом бегут к морю мыться? Используют приспособления, вроде крючьев или носилок?

И серных спичек, напоминаю, тогда не было. Зажечь костер на берегу моря, где ветрено, надо было уметь. Вряд ли он занялся сразу, и веселые итальянцы, наверно, ругались, досадуя на ветер и собственную неловкость.

Как хорошо изучена эта эпоха – едва ли не каждый образованный человек вел дневник, и сопоставляя их с письмами и другими документами, жизнь не то что Шелли, а и того же Уильямса в последний его год можно расписать по дням, а порой и по часам.

И как плохо мы представляем себе ее живые подробности – люди эпохи Романтизма редко достаивали их вниманием.

Еще, вероятно, при кремации присутствовал представитель церковных или светских властей и, надо думать, был составлен и подписан соответствующий протокол. Возможно, впрочем, это сделали позже – благодаря или взятке, или тому, что в те наивные времена государство еще сохраняло человеческое отношение к мертвым.

Но что мы знаем точно – Джордж Гордон Ноэль Байрон в сопровождении Ли Хента, лондонского журналиста, критика и поэта, единственного тогда профессионального литератора, по достоинству ценившего гений Шелли, приехал в экипаже и присутствовал при кремации.

Байрон умел вести себя так – благо и внешность, и слава, и внутренняя трагическая сила содействовали, – что любой его спутник казался сопровождающим. Это вошло в привычку и получилось само собой.

Вероятно, и Шелли выглядел рядом с Байроном (лордом Байроном, бароном Байроном) примерно так же – барон умел себя поставить, да к тому же невысоко ценил Шелли-поэта. Но смерть меняет многое. В тот день Байрон написал своему другу, поэту Томасу Муру: «Вот ушел еще один человек, относительно которого общество в своей злобе и невежестве грубо заблудилось. Теперь, когда уже ничего не поделаешь, оно, быть может, воздаст ему должное».

И там же, несколько выше: «Вы не можете себе представить необычайное впечатление, производимое погребальным костром на пустынном берегу, на фоне гор и моря, и странный вид, который приобрело пламя костра от соли и ладана; сердце Шелли каким-то чудом уцелело, и Трелони, обжигая руки, выхватил его из горсти еще горячего пепла».

Как все-таки разведены мы не только во времени, но и в пространстве! Видимо, для Байрона нет ничего удивительного в поступке Трелони, раз уж сердце «каким-то чудом уцелело». Представьте себе, что группа русских в Италии хоронит соотечественника, подчиняясь тому же карантинному закону, – мыслимо ли предположить, что кто-то из них вынет сердце покойного из горсти праха? Что-то языческое, из английских сказок о людоедах видится в этом.

Но и родственные нам поляки сходно поступили с сердцем Шопена. Как нам понять друг друга?

Ли Хент попросил у Трелони сердце друга и передал его вдове поэта Мери Шелли. После ее смерти в 1851 году сын, сэр Перси Флоренс Шелли, нашел сердце отца – высохшее, готовое рассыпаться и стать шепоткой пыли. Оно хранилось в письменном столе Мери, завернутое в собственноручно переписанный ею экземпляр «Адонаиса» – поэмы Шелли, написанной на смерть другого великого романтика, Джона Китса. Томик его стихов был найден в кармане мертвого Шелли.

И символика действий Мери понятна. Однако странен и страшноват сам предмет, легший в основу символа.

Но отметим в этом символе еще одну грань: судьба поэта не кончается с его жизнью. Смерть – переломная точка судьбы, она огромна, но не больше самой себя. Или, как писал сам Шелли, «только суеверие считает поэзию атрибутом пророчества, вместо того чтобы считать пророчество атрибутом поэзии. Поэт причастен к вечному, бесконечному и единому; для его замыслов не существует времени, места или множественности».

II

«Бедой нашего времени является пренебрежение писателей к бессмертию», – писал Шелли. Именно свою включенность в поток поэзии, видимо, понимал он как судьбу. Человек своего времени, наследник эпохи Просвещения, он не мог принять Рок в его античном понимании, а если и мог, то не признавался себе в этом. Ренессанс с его представлением о самобытности и самоценности человеческой жизни давно оттеснил античное (да и средневековое) понимание Рока, или предопределенности, в область бытовых суеверий, на периферию сознания, в словесные клише типа «ему выпал жребий», «не судьба» и т. п. И в этом отношении дистанция между нами и романтиками невелика, тут мы – люди одной эпохи.

С другой стороны, все мы наследники христианского представления о смысле истории, когда человек зависим от этого смысла (этот акцент характерен для Средневековья) или от самой истории, что характерно для Нового и Новейшего времени.

Но, повторю, нас разделяет не только время, но и историческое пространство. В биографиях, написанных на Западе, герой преобразует мир, в котором живет, мир словно представляет собой декорацию, на фоне которой действует гений. Биографические телесериалы, набитые кочующими штампами типа «гений – толпа» – крайнее выражение этой тенденции, когда воля гения подчиняет себе мир, вообще говоря, равный толпе, которой гений и приносит себя в жертву.

У нас же герой – фигура скорее страдательная, не столько жертвующая, сколько жертвенная. Он настолько исторически и социально обусловлен, что напоминает число, подставленное в формулу. Таков толстовский Наполеон, но ведь Кутузов таков же. Разница – в осознании ими собственной роли.

Возьмем классика нашей биографической прозы Юрия Тынянова: ведь «Подпоручик Киж» – вещь не случайная, это, при всей тонкости, насмешка не только над бюрократией – тогда бы грош цена всей повести, – но и над идеалом русской биографической книги и одновременно – сам этот идеал. Идеал, добавляю, трагический.

Как и всякий человек, гений живет в истории, и она жива в нем. Он наделен волей и может бежать от судьбы или шагнуть ей навстречу, но он чувствует, вплоть до того что это чувство – или предчувствие – отливается в знание, что она ждет его.

Так, накануне гибели, уходя от жены своего друга и издателя Ли Хента Марианны, Шелли, как мы сказали бы теперь, «на ровном месте», не переставая улыбаться, произнес: «Если завтра я умру, знайте, что я прожил больше, чем мой отец, – мне 90 лет».

Это больше, чем включенность в поэзию, это ощущение судьбы, включенной в то, во что включена и сама поэзия – в мироустройство.

Судьба, воля, история, быт, переплетаясь, образовали жизнь поэта. Его посмертная судьба, свободная от воли, быта и самой жизни, становится частью истории.

Все это будет объектом нашего внимания.

Глава I

1

Историки графства Сассекс, расположенного на юге Англии, говорят о некоем Шелли, который вступил на английскую землю вместе с Вильгельмом Завоевателем и сражался на его стороне. Более поздний предок Шелли, сэр Уильям, участвовал в попытке возвести на престол короля Ричарда II и погиб на плахе.

Вообще род Шелли известен своим бунтарством: один из предков Шелли был заключен в тюрьму за выступление против акта, требующего изгнания из Англии католических священников, другой – осужден за государственную измену и казнен по обвинению в заговоре: он хотел убить Елизавету и освободить из тюрьмы Марию Стюарт.

Род ветвился, и «наши» Шелли были всего лишь одним из ответвлений этого древа. На время, и немалое, предки поэта исчезают из Англии. Это было распространено: старший сын наследовал основную часть состояния, остальные, получив свою долю, отправлялись в колонии попытать счастья.

Сын Тимоти Шелли Биши вернулся из Америки. Ему не было и двадцати одного года, когда, похоронив свою первую супругу, он увеличил капитал, женившись на богатой наследнице. Она родила ему сына Тимоти – будущего отца поэта – и двух дочерей и умерла после рождения второй дочери. Спустя девять лет Биши Шелли, вдовец с тремя детьми, добился руки еще одной богатой наследницы, но вскоре опять овдовел. Трудно не заметить стойкой семейной традиции называть старшего сына в честь деда.

Это было не только обычаем, но и символом. Достоинство рода Шелли должно было увеличиваться от поколения к поколению. По этой же причине первенец в семье занимал особое положение.

Знакам достоинства семьи, нет, более чем семьи – рода, уделялось особое внимание. То, что почтенный лендлорд добивался и в 1806 году добился титула баронета и стал сэром, неудивительно. Но то, что он построил замок Горинг, стоивший огромных денег, можно объяснить только заботой о родовой символической, ибо замок пустовал: сам сэр Биши жил в коттедже рядом с церковью, не позволяя себе лишних трат: ему прислуживал один-единственный слуга, что по тем временам было более чем скромно. Большую часть времени сэр Биши проводил в таверне «Лебедь», вовлекая в разговоры о политике ее завсегдаев. Он был стойким вигом и принадлежал к группировке герцога Норфолка.

Опять все очень не по-русски. Представьте себе помещика – и богатейшего, – который болтает в кабаке о политике со своими крестьянами, да к тому же не одобряет действия монарха и правительства. Это было бы беспрецедентным фрондерством, и, надо думать, санкции не замедлили бы последовать.

Но в Англии подобное поведение было вполне респектабельным. Не знала Англия и того культурного разрыва между сословиями, который так характерен для России. При всем различии между богачом и нищим англичане оставались людьми одной культуры, и потому нет ничего удивительного в том, как проводил свои дни старый Биши Шелли.

Биши был явно корыстным человеком: обстоятельства смерти его жен странны и загадочны, а прошлое весьма темно. Но было в нем что-то – и немалое! – от того английского садовника, который знает: «газон надо поливать и подстригать, и так сто лет». Процветание рода Шелли, не свое собственное и не семьи, а именно рода, было главным делом его жизни. Из детей только сын Тимоти пользовался расположением отца. Обе дочери вели нищенское существование под родительским кровом и вышли замуж тайно. Обе не были даже помянуты

в завещании. Естественно, полюбил дед и так обманувшего впоследствии его ожидания внука и наследника Перси Биши, полюбил до такой степени, что дарил ему деньги и оплачивал счета, которые представлял местный издатель за опубликование его первых детских стихов.

Нам, однако, известно, что это была любовь без взаимности. Вероятно, и тут старик любил более «продолжателя рода», нежели живого, требующего внимания и участия мальчика. И вот итог этих странных, холодных отношений: «Я узнал от дяди, – пишет едва расставшийся с детством девятнадцатилетний поэт, – что сэру Б. Шелли осталось недолго жить. Он – убежденный атеист и надеется на полное исчезновение. Он очень дурно обходился с тремя своими женами. Вообще он дурной человек. Я никогда его не уважал; я всегда считал его бичом общества. О его смерти я не стану горевать. И траура не надену, и на похороны не явлюсь. Его смерть для меня – это смерть закоснелого распутника. Я никогда не соглашусь ложно представлять свои чувства».

Удивительно, что такой отзывчивый, такой, как мы бы сказали, жалостливый юноша, не распространял этого чувства на своих родных. И мне жалко старика Биши, незаурядного человека своей эпохи.

Перси Биши Шелли, будущий великий поэт, столь неожиданным способом составивший истинную славу рода и каждого своего предка в отдельности, родился в субботу 4 августа 1792 года, в погожий, но ничем не примечательный летний день, в графстве Сассекс, в доме по имени Филд-плейс.

Дом был относительно новым, с портиком и рядом окон над ним. Всеми окнами дом был обращен на запад, в сад, к горам, видневшимся вдаль. Вокруг лежали пашни и пастбища вперемешку с лесами и рощами. Особенно знаменит был лес св. Леонарда, расположенный на севере. В нем еще водилась нечистая сила, которую все больше «теснила» цивилизация. Через лес св. Леонарда не рекомендовалось ездить ночью: безголовое привидение вскакивало на лошадь позади всадника и оставляло его только на опушке. Еще до норманнского завоевания, при короле Джеймсе, в лесу св. Леонарда поселился 9-футовый змей, поначалу весьма агрессивный: он выстреливал во встречных ядом на расстояние метров в двадцать; с тех пор змей присмирел, но и теперь его еще иногда видели. По бокам чудовища располагались перепонки – надо думать, сложенные крылья. Старый змей больше не нападал на прохожих, но смотрел на них, испуганных, с необыкновенным высокомерием, вероятно, думая про себя: «Эх, молодо-зелено!»

В двух милях от Филд-плейса находился городок под названием Хорсхэм. Его единственная полуплощадь-полуулица упиралась в церковь со шпилем, специально построенным несколько косо, возможно, в подражание Пизанской башне. Второй достопримечательностью была водяная мельница:

Тоскует птица о любви своей,
Одна в лесу седом,
Крадется холод меж ветвей,
Ручей затянут льдом.

В полях живой травинки не найдешь,
Обнажены леса.
И тишину колеблет только дрожь
От маленького колеса.

(Пер. С. Маршака)

Это песенка шута (все романтики преклонялись перед Шекспиром) из неоконченной трагедии Шелли «Карл I». О тех ли это полях и о той ли мельнице, ответить некому, но, вероятно, и о тех тоже.

И совсем рядом была деревушка Варнхэм, мало отличающаяся от Хорсхэма, но известная тем, что в деревенском пруду жила гигантская черепаха (задумаемся, не родственница ли чудовища озера Лох-Несс?). Мало кто видел ее, но звуки, по временам раздававшиеся из пруда, не оставляли сомнений в ее существовании.

Как видим, темы нынешней фантастики всю эксплуатировались обитателями Сассекса еще в XVIII веке.

Впрочем, любое детство наполнено чудесами, а едва ли не любая юность – жадной чудес. В юности Шелли эта жажда проявилась особенно ярко, и век придал ей своеобразную рационалистическую окраску.

Тимоти и Элизабет Шелли, в девичестве Митчел, заключили брак в 1791 году. Оба были красивы, что в полной мере передалось их первенцу.

Тимоти закончил Оксфорд (вряд ли это обстоятельство серьезно повлияло на его жизнь), совершил традиционное путешествие на континент и занялся политикой, если только купленное, по существу, место депутата палаты общин можно всерьез считать занятиями политикой. Как и отец, он был вигом и считал себя либералом, но не обладал жизненной силой, умом и беспринципностью отца. А если и обладал, то эти качества не были востребованы. Отец был основателем рода, сын – продолжателем, и каждый был хорош на своем месте и в свое время. Вряд ли старый Биши был сентиментален, но о Тимоти известно, что слезы нежности и досады легко выступали на его глазах, и это тоже было в порядке вещей – он рос в эпоху сентиментализма, его современники зачитывались Стерном. Хотя, возможно, и Стерн тут ни при чем – таков был воздух времени.

Свою мать сам поэт позже охарактеризовал как женщину «мягкую, терпимую, однако недалекого ума». Есть, впрочем, свидетельства, что характер ее был бурен и даже деспотичен. Это проявлялось и в отношениях с Перси, ибо мальчик не вполне соответствовал тому, каким, по ее представлениям, должен быть «истинный джентльмен».

Сам Шелли не написал о своих ранних годах ровно ничего; немногочисленные его высказывания о детстве – это разговор о детях вообще, но никогда о Перси Биши Шелли – ребенке, об этом мальчике мы знаем только со слов его сестры Эллен, которая была младше Перси на семь лет. Уже одно это ставит многое в ее воспоминаниях под сомнение.

И все-таки нельзя не упомянуть о том, что, по Эллен, Шелли очень тепло относился к четырем своим сестрам и брату; несмотря на разницу в возрасте, они и составляли его компанию во время каникул, и, видимо, он не тяготился этим.

Шелли имел актерские задатки, прекрасно «представлял» знакомых и любил розыгрыши, в которых использовал этот дар, – примеры приводятся.

Будущий поэт рано пристрастился к чтению, пересказывал сестрам прочитанное и по ходу рассказа примерял к себе маски героев, более того, переживал прочитанное едва ли не больше, чем живую жизнь, и слишком легко принимал его за руководство к действию.

У него, как у всякого аристократического отпрыска его возраста, был пони.

Шелли-ребенок нежно любил отца, в этом можно было бы усомниться, если бы не трогательная, почти толстовская подробность: когда Тимоти тяжело заболел, Перси подходил к его спальне и прислушивался к дыханию за дверью.

«Чувство долга по отношению к семье было ему свойственно, – заключает Эллен, – но он не признавал компромисса».

Пожалуй, стоит привести и первое из дошедших до нас стихотворений Шелли, написанное им в десятилетнем возрасте и подаренное трехлетней Эллен.

СТИХИ ПРО КОТА

1

Ах, котик-бедняжка!
Вздыхает он тяжело.
Я знаю, о чем он мечтает:
Мечтает котик
Набить свой животик,
Об этом он так и вздыхает.

2

Ах, сколько несчастий,
Ах, сколько напастей
Ожидает живущих на свете!
И мучат, как черти,
С рожденья до смерти
Напасти вечные эти.

3

Один ищет средство,
Как дяди наследство
К рукам прибрать поскорее;
Другой, сытый коркой,
Корпит над конторкой,
Пусть каждый решит, что мудрее.

4

Один – развлеченный,
Другой – увлеченный,
А третий ищет покоя.
Кому-то нужна,
Допустим, жена,
Кому-то, допустим, жаркое.

5

А бедная киса
Мечтает, чтоб крыса
Скорее ей в зубки попалась.
Вот кое-кому бы
Такое же в зубы.
Пускай помолчали бы малость!

Когда мальчику исполнилось шесть лет, его послали, как это было принято, в школу при ближайшей приходской церкви. Первым учителем будущего поэта был преподобный мистер Эдвардс, добрый, но недалекий старик. Четыре года спустя Перси отдал в школу Сион-Хаус, где он попал в буйную толпу шестидесяти сверстников, и жизнь его резко изменилась. Здесь был прав тот, кто был силен, а хрупкий новичок, похожий на переодетую девочку, не умел постоять за себя.

Ровесники быстро поняли, что Шелли очень возбудим и чувствителен к обидам. Обычно добродушный, благородный, щедрый, с огромными светящимися доброжелательностью глазами и мечтательно вскинутой головой, в приступе гнева он становился даже опасен: он мог запустить в обидчика любым попавшимся под руку предметом. Когда его били, он катался по полу и кричал, но не от боли, а от унижения. А в кого-то метило и приведенное выше стихотворение. Не оставим без внимания эти первые всплески воли, не желавшей покориться судьбе. Шелли старался держаться в стороне от толпы мальчишек. Положение в тогдашних английских школах известно нам из романов Диккенса.

Школа размещалась в большом мрачном кирпичном здании, раньше принадлежавшем епископу Лондона. К дому примыкали сад и спортивная площадка. Когда в свободные часы ученики носились по этой площадке, Перси молча шагал вдоль стены, сосредоточенно о чем-то думая или читая на ходу очередную дешевую книжку в голубой обложке, рассказывающую о чудесах, таинственных замках, чародеях и убийцах. В библиотеке школы ему попадались Ричардсон, Филдинг, Смоллет, но всем им он предпочитал тогда Анну Радклиф.¹ В ее романах, населенных героями исключительных пороков и достоинств, всегда присутствовала неведомая таинственная сила, и это захватывало воображение мальчика, и всё происходящее на страницах книг становилось для него реальностью.

Здесь же, в Сион-Хаусе, но в старшем классе, учился его троюродный брат Томас Медвин, который сразу же принял на себя роль покровителя, но не друга.

Шелли не любил ни греческую, ни латинскую грамматику, но благодаря своей великолепной памяти усваивал всё без усилий. Во время этих уроков он был рассеян, смотрел в окна или рисовал на полях тетрадей и учебников угловатые очертания тех сосен и кедров, которые росли на поляне возле его родного Филд-плейса. Уроков учителя танцев, который уверял, что проще обучить танцевать медведя, чем этого хрупкого мальчика, Шелли по возможности избегал. Зато на уроках литературы он с упоением слушал о Гомере, Вергилии, Софокле.

В начале лета 1804 года Шелли окончил Сион-Хаус и был принят в старинный аристократический колледж Итон, находящийся под покровительством монарха. Принцы, по традиции, с незапамятных времен до наших дней тоже учатся в Итоне.

2

6 июля 1789 года² пала Бастилия, и именно эта дата стала отправной точкой в политической, да и не только политической истории Европы на сто с лишним последующих лет. Знаменитый вопрос Достоевского «стоит ли счастье человечества слезинки одного замученного ребенка», заданный без малого 90 лет спустя, – оттуда, из революционной Франции.

Вся короткая жизнь Шелли, так же как и Байрона и Китса, уложилась в эпоху, которую нынче назвали бы застоём, а всегда называли реакцией. Это была сложная, неоднозначная и противоречивая реакция прежде всего на Французскую революцию.

Питт-младший, английский премьер и лидер «новых тори», человек по-своему выдающийся, после казни Людовика XVI разорвал дипломатические отношения с Францией; ее

¹ Анна Радклиф (1764–1823) – известный автор готических романов.

² Дата взятия Бастилии – 14 июля 1789 года (прим. ред.)

поверенный в делах был выслан из Лондона, и война стал неизбежной. Она и была объявлена Конвентом 1 февраля 1793 года. Конец этой войне, длившейся более 20 лет, положит только Ватерлоо. Либеральные преобразования, прежде всего парламентская реформа, предлагаемая левым крылом вигов во главе с Чарльзом Фоксом, оказались отодвинутыми на неопределенный срок.

Мы-то знаем на какой – реформа была проведена в 1832 году, спустя 10 лет после гибели Шелли.

Французская революция выросла на идеях Просвещения. Английская реакция нуждалась в их опровержении, и человека, взвалившего на себя этот труд, звали Эдмунд Берк. Как часто бывает, его движение направо началось с левой ноги: он выдвинулся за четверть века до описываемых событий благодаря нападкам на тори; но так уж устроен мир – с возрастом человек «правеет», делается осторожнее и умнее (вспомним Достоевского), и не будем заранее принимать Эдмунда Берка за злодея.

Итак, его книга, названная «Размышления о Французской революции», была издана в 1790 году, и сам Людовик XVI переводил ее в последние месяцы перед падением монархии.

Английский король Георг III, который в отличие от предыдущих Георгов, своих отца и деда, сумел вновь стать королем, реально влияющим на политический курс державы, рекомендовал прочесть эту книгу «каждому джентльмену».

Небольшое отступление. В реальный языковой оборот слово «нигилизм» ввел Тургенев – прежде оно появлялось, несколько раз рождаясь заново, у разных авторов, но умирало, едва родившись, как и русская его калька «ничеговоки», – слово не несло с собой образа. Тургенев привил слову плоть, и оно стало жить.

Русские просветители-шестидесятники (а в России все оказалось сдвинутым по времени, так Пушкин – наше Возрождение) были нигилистами, и это очевидно.

Но их европейские предшественники тоже были нигилистами, что не столь очевидно из-за того, что само слово опоздало лет на сто. И практическое устройство их «царства разума» оказалось весьма страшным. Я говорю даже не о Робеспьере, который не довел своего опыта до конца, хотя и начало впечатляет. Но вот парагвайский правитель доктор Франсиа взялся за создание «золотого века» в своей отдельно взятой стране и создал режим, даже внешней своей атрибутикой удивительно напоминающий сталинский, с поправкой, конечно, на время (конец XVIII – нач. XIX в.) и место. Доктор Франсиа был верным учеником французских просветителей.

Вот некий неизвестный нам поклонник педагогических идей Руссо решил воспитать ребенка в точном соответствии с рекомендациями учителя. Воспитанник, Гаспар Гаузер, выпущенный в мир уже взрослым юношей, просто не смог жить в нем. Достаточно сказать, что прежде он никогда не видел женщин, общаясь, как и предписывалось, только с наставником.

Его дальнейшая судьба оказалась недолгой и печальной: как и дети, воспитанные животными, он не смог приспособиться к жизни с людьми.

Берку удалось, еще не имея этих примеров, нащупать слабое место Просвещения – его абстрактный характер, его невосприимчивость к оттенкам и полутонам, его нигилизм.

Он противопоставил ему историческую традицию, но тут же впал в другую крайность: под его пером она превратилась в почти мистическую силу, навеки определяющую политическое устройство данного народа. Антипросветитель Берк был тем не менее человеком эпохи Просвещения, и приставочку «анти» здесь не следует понимать в гегелевском смысле, как этап развития, но только как антитезу.

Книга Берка стала манифестом нового торизма и теоретической базой политики Питамладшего и тех, кто вслед за ним садился в кресло английского премьер-министра.

Берк писал свои «Размышления», полемически направляя их против речей философа Ричарда Прайса на заседаниях «Общества революции», созданного левым крылом вигов. В общество вошли такие выдающиеся люди, как Чарльз Фокс, Ричард Шеридан, Джозеф Пристли и другие. «Общество» направило торжественное послание Национальному собранию Франции.

«Я дожил до того, – говорил доктор Прайс в одной из своих «проповедей» в 1789 году, – что увидел, как тридцатимиллионный народ, возмущенный и решительный, с презрением отвергает рабство, непреклонно требует свободы, как он с триумфом руководит своим королем, а самовластный монарх сдается своим подданным. Мне кажется, что я вижу, как горячее стремление к свободе распространяется все дальше, захватывает все более широкие слои и в человеческих делах начинается общее искоренение всех пороков; власть королей сменяется властью законов, а власть священников отступает перед властью науки и разума».

Но то было начало. Дальнейший ход Революции, террор и жестокость могли напугать кого угодно. Или – разочаровать. Принципы 89-го года оказались помянутыми, дерево свободы принесло страшные плоды. Не видеть этого английское общество не могло, и в результате в 1792 году произошел раскол партии вигов – большинство во главе с герцогом Портлендским примкнуло к тори, и лидеры вошли в правительство Питта, ставшее таким образом коалиционным. Левое крыло осталось в оппозиции, но его либерализм оказался теперь, если так можно выразиться, контрреволюционным.

Маленькое отступление. Мне не хотелось бы, чтобы читателя отвратило это слово, как и его антоним – «революционный» – в дальнейшем. Было то, что было, и вещи следует называть своими именами.

Итак, левые виги очень скоро утратили свою революционность и стали, по точному определению великого нашего писателя Н. С. Лескова, «постепеновцами». Нужно добавить, что фракция левых вигов боролась против ущемлений гласности, но аргументация их симптоматична. «Чем свободнее могут выражаться мнения, – писал Фокс, – тем менее они могут представлять опасности. Лишь тогда мнения становятся опасными для государства, когда преследования вынуждают его жителей высказывать свои мысли под величайшей тайной».

Правительство, однако, придерживалось другого мнения, и у него были на то свои резоны: дело в том, что парламентские партии не представляли большинства нации. Еще в 1717 году был принят закон, в соответствии с которым право избирать предоставлялось лишь тем, кто имел не менее 600 фунтов стерлингов годового дохода с недвижимости или 200 фунтов стерлингов от торговых и финансовых операций. Для справки: квалифицированный английский рабочий получал в конце XVIII века 12 – 15 фунтов стерлингов в год.

Неудивительно, что, фактически не имея своих депутатов в парламенте, люди бедные искали возможности высказаться и защитить свои права.

Возникали тред-юнионы, начались забастовки, особенно мощные именно в год рождения Шелли.

Это движение неимущих и малоимущих нуждалось в организационном и идеологическом оформлении.

Наиболее значительной их организацией стало Лондонское корреспондентское общество, установившее посредством переписки (отсюда и название) связи с демократически настроенными провинциалами.

Их виднейшим идеологом стал Томас Пейн, в своем трактате, названном «Права человека», не только опровергавший консерватизм Берка («получается, что мертвые у него должны править живыми»), но и выдвинувший политическую программу ломки всего государственного строя.

Их гимном стала песня, в которой Дерево Свободы (любимый в Англии символ Французской революции) рекомендовалось поливать кровью тиранов.

Социальное напряжение росло, и не только поэты чувствовали, что «почва заминирована под ногами» (из письма В. Скотта Р. Саути).

Правительственная коалиция ответила репрессиями. Корреспондентское общество было разогнано, а его вожди – арестованы. Томас Пейн, которому грозило обвинение в государственной измене и, следовательно, смертная казнь, бежал из страны. На титульном листе книги с нападка на Пейна великий поэт Уильям Блейк, писавший тайно даже от друзей – таков был его странный принцип, – сделал надпись: «Защищать Библию в этом 1798 году стоило бы человеку жизни. Зверь и блудница правят безраздельно». Манера выражаться у Блейка всегда тяготела к символам, напоминающим стиль Апокалипсиса, но что он имеет в виду, в общем понятно.

Тогда «четвертое сословие» заговорило по-другому и все более громко: карету короля забрасывали камнями, в доме премьер-министра били стекла.

Проведя в 1793–1795 годах через Парламент ряд законодательных актов, правительство фактически ввело чрезвычайное положение.

Бунты прокатились по стране. В 1797 году восстали военные моряки трех эскадр. Готовилось восстание в Ирландии. Не промедли в этот момент французы с их обещанной помощью ирландцам, и вся дальнейшая история Соединенного королевства могла бы сложиться по-другому. Оба восстания – на флоте и в Ирландии – были подавлены, а руководители казнены. Веса истории качались.

Многие – даже из тех, кто вовсе не желал революции, – были убеждены в ее неизбежности. И теперь то, что она не произошла, иногда кажется чудом.

Может быть, дело в том, что «низы не хотели», но верхи еще могли действовать по-старому и не утратили воли к тому. Нравится нам это или не нравится, но цитированный автор был специалистом в своей области и дал классическое определение революционной ситуации.

Верхи не утратили воли к власти и сохранили власть. Парадоксально, но, быть может, тогда это было наименьшим из зол.

Нам-то хорошо глядеть из нашего далека, а тогда это означало: виселицы («Я за то, чтобы всех повесить», – начинал каждую свою речь в Парламенте один из депутатов. Ерничал? Доказывал преданность?). Это означало: тюремные сроки, доноительство, предательство, подрыв душевных сил. «Это было время, – писал публицист Сидней Смит, – страшное для всех, которые, имея несчастье разделять либеральные идеи, были достаточно честны, чтобы не изменить им ради высоких судейских и духовных должностей... Говорить о скандальной медлительности судопроизводства, против жестокости законов об охоте, против деспотизма богачей и страданий бедняков было изменой плутократии, и за это можно было жестоко поплатиться».

Реакция, как нам слишком хорошо известно, развращает.

Но отдадим должное и тем, кто управлял страной. Несмотря на ненадежность команды, мировые бури, слабоумие короля (Георг III в старости был поражен этим недугом), они вели корабль государства, не колеблясь в правильности избранного курса, – и победили. Это тоже очень по-английски. А что до формулы «пораженья от победы ты сам не должен отличать», то европейская история еще не освоила ее.

3

Мальчику не было еще 12 лет, когда он предстал перед директором колледжа доктором Гуддалом, добродушным, старомодным, образованным господином, которому явно не хватало строгости, необходимой для управления школой. А любое проявление либерализма, даже снисходительность к юным воспитанникам, казалось опасным для властей, напуганных революцией. Поэтому Георг III вскоре поставил во главе Итона человека, наводящего страх на всех окружающих. Доктор Кит был уверен, что палочные удары значительно ускоряют нравственное

совершенствование учеников. Обычно свои речи, обращенные к воспитанникам, он заканчивал такими словами: «Дети мои, проникнитесь христианской любовью, иначе я буду вас бить до тех пор, пока она сама не проникнет в вас». Всякое сомнение в религии доктор Кит считал преступным, но религиозные принципы ничуть не мешали крайней жестокости его нрава. Особым почетом в школе пользовался бокс, и если случались слишком отчаянные драки, на это смотрели сквозь пальцы.

Жизнь Шелли в Итоне во многом еще более осложнилась, и прежде всего по той причине, что здесь его окружали не 60 мальчиков, как в Сион-Хаусе, а 500; в школе господствовали и официально поощрялись варварские обычаи. Младшие были «фагами», или рабами старших. Каждый «фаг» чистил платье и обувь, стелил постель своего повелителя. Всякое неповиновение каралось побоями. Пресловутая «дедовщина», оказывается, отнюдь не новейшее изобретение.

С первого же дня Перси отказался подчиняться этому варварскому обычаю и тем самым сразу же оказался «вне закона». В Итоне, где вся система образования была рассчитана на то, чтобы создать твердые, отлитые по одной форме характеры, где крайне не одобрялась всякая оригинальность мысли, языка, костюма, юный Шелли со своими длинными локонами, расстегнутым воротом рубашки, всегда что-то с увлечением читающий, обдумывающий и нередко заявляющий во всеуслышание что-нибудь абсолютно недозволительное, например что бога вовсе не существует, заслужил прозвище «сумасшедший Шелли». Здесь, как и в Сион-Хаусе, мальчики скоро поняли его уязвимость, вспыльчивость и начали преследовать. «Травля Шелли» стала одной из любимых школьных игр.

В темные зимние вечера мальчишки нередко окружали Шелли, забрасывали его комьями грязи или начинали все вместе хором выкрикивать его имя. Отталкиваясь от темных сводов старинного здания, эхо вторило им: «Шелли, Шелли!..» Жертва стояла, выставленная на посмешище, руки тянулись к нему, пальцы указывали на него. В такие минуты, как вспоминали потом его товарищи по Итону, «глаза Шелли начинали сверкать, как у тигра, щеки становились белыми, руки дрожали». Конечно, итонские нравы были все же гораздо мягче тех, что наблюдаются в наших замкнутых детских коллективах, да и воспитатели, в чем-то даже поощрявшие то, что нынче у нас называют «беспределом», ставили ему, однако, вполне четкий предел. Шелли был доведен до этой черты, но устоял – его твердость вызвала уважение; среди тьмы недругов появилось два друга; Шелли и его ровесник Амос развлекались, сочиняя пьесы и разыгрывая их перед младшими товарищами. Амос вспоминал привычку Шелли с воодушевлением распевать, бегая вверх и вниз по лестнице. Особенно он любил «Песню ведьм» из «Макбета». Иногда все трое отправлялись за город на берег Темзы. Отсюда, с мягких прибрежных лугов, башни Виндзора и Итона казались маленькими, они уже не господствовали над миром, а были затеряны в нем и зависимы от солнечных далей, облаков, шума реки и вечного времени.

За пять лет, проведенных в Итоне, ученик должен был два раза прочесть Гомера, почти всего Вергилия, многое из Горация, должен был научиться сочинять сносные латинские стихи на случай, например воспеть военных кумиров тех лет – Веллингтона или Нельсона. Именно в Итоне Шелли приобрел основательную классическую эрудицию. Из античных авторов ему особенно полюбился Лукреций. Эту привязанность Шелли сохранил на всю жизнь. Много лет спустя его жена Мери вспоминала, что он никогда не расставался с томиком великого мудреца и поэта. В Итоне Шелли как никто преуспел в сочинении латинских стихов, конечно, они были подражательными, но отличались легкостью и изяществом. В свободное время юноша перевел несколько глав из «Естественной истории» римского ученого, писателя и государственного деятеля Гая Плиния. Неверие Шелли было поколеблено таким утверждением Плиния о Боге: «Я думаю, что искать какие-нибудь формы Бога, определять его очертания, его образ – это

человеческая слабость. Потому что Бог есть вся жизнь...» Отношение Шелли к религии, как и все прочие его убеждения, еще не устоялись.

Тем не менее среди любимых книг Шелли были сочинения французских просветителей. Они во многом повлияли на формирующееся мировоззрение будущего поэта. Гольбах был крупнейшим воинствующим атеистом своего века; в отличие от Вольтера, он выступал не только против фанатизма и нетерпимости католической церкви, но и против религии вообще, отрицая существование бога. Гельвеций – очень близкий Гольбаху и как философ, и как социальный мыслитель – внес, однако, новое понятие в свое обоснование этики как высшего социального закона. Он пришел к выводу, что «польза есть принцип всех человеческих добродетелей и основание всех законодательств».

Мысли, высказанные Руссо в самом начале второй половины XVIII века, и 50 лет спустя оставались всё такими же дерзкими и непривычными. «Первый, кто отгородил участок земли и сказал: “Это мое”, – был подлинным основателем современного общества. От скольких преступлений, войн и убийств, от скольких бед и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы своим ближним: “Остерегайтесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля – никому”», – юноша восторженно твердил наизусть поразившие его мысли философа из Женевы.

Однажды в итонской библиотеке Шелли обнаружил объемистое философское сочинение Уильяма Годвина, автора давно полюбившегося ему «Калеба Уильямса». Название сочинения было притягательным: «Рассуждение о политической справедливости». Шелли унес в свою спальню два огромных, по тысяче страниц каждый, тома.

4

Как хорошо, как свободно быть всеведущим и непогрешимым автором «свободного романа» – ты Бог! Судьба героя в твоих руках, каждое движение его души известно тебе. И как же трудно проникнуть в мысли человека, реально жившего на свете! Ты не творец, но еще художник, хотя с помощью дефиса к этому слову привешена гирька – реставратор. Да не гирька – пудовая гирия. Поди взлети! – но попробую.

Итак, Уильям Годвин (1756–1836), кальвинистский священник, порвавший со своей, да и со всякой церковью.

По убеждениям – типичный просветитель, по политической ориентации – радикал, друг Томаса Пейна, Ричарда Прайса и других выдающихся деятелей радикальной партии. Формально, однако, не состоит ни в Корреспондентском, ни в каком-либо другом обществе, свобода даже от единомышленников – его принцип. Свобода выше равенства и братства.

По роду занятий – философ, писатель, публицист.

Семейное положение... Но довольно анкетных данных, за ними – человек.

И вот сквозь магический кристалл, уже начавший расти в даях несвободного моего романа, я пытаюсь разглядеть его. Я не останавливаюсь на внешности Годвина, тем более что портрет прилагается. Он и сидит-то сейчас спиной ко мне, ну не совсем спиной – в четверть оборота, и смотрит на огонь в камине. Это странный огонь – словно в оконном стекле, в нем нет-нет да и высветится лицо смотрящего в него. Сегодня Рождество. Все в церкви, но Годвин не ходит в церковь. Он один.

Он погружен сразу в прошлое и будущее, а настоящее, несмотря на то что рядом – никого, нереально, игрушечно, как во всякую новогоднюю ночь. Оно лишено собственного смысла, как глагол-связка, и потому рядится в чужое, напяливая веселье на пустоту.

Годвин не признает такого веселья – без смысла и повода. Он не верит в реальность Христа и, следовательно, в то, что Пресвятая дева Мария готовилась разрешиться от бремени 1798 лет тому назад.

Что ему эта сказка – у него свои заботы. Его Мария тому назад месяц разрешилась от бремени младенцем женского пола и прожила четыре дня после родов.

Годвин назвал дочь именем матери, и теперь в доме живет, кричит и доставляет массу неудобств Мери Годвин-вторая, и видом своим, и действиями так поразительно непохожая на первую.

Ежедневно Годвин заходит в детскую посмотреть на ребенка, и девочка уже улыбается, увидав его, а он не знает, как себя вести, потому что он слишком англичанин, чтобы ответить ребенку улыбкой, хотя и считает себя всечеловеком.

Если в скором времени Мери-вторая не последует за первой – а ребенок слабенький, да и кормилица с нянькой разве заменят мать, – то надо будет жениться вновь: философ не может быть одновременно и домоправительницей. Миссис Ревли вполне подходящий вариант, тем более что она так помогла и продолжает помогать Годвину в эти трудные времена. Она более чем своя в доме, а то, что и у нее дети, даже неплохо, хотя – расходы. Годвин усмехнулся: мечта – миссис Мери замужем!

Но покойную Мери миссис Мери Ревли все равно не заменила бы, потому что ее не заметит никто.

Известность Мери Уолстонкрафт едва ли уступала известности самого Годвина. Воительница революционной эпохи, женщина-трибун, автор публицистических манифестов, путевых очерков, рассказов и повестей, Мери была первой в Европе поборницей женского равноправия.

У Мери была внебрачная дочь Фанни Имлей, которой в момент смерти матери шел третий год. Естественно, что и она осталась на попечении Годвина. Есть доля истины в выражении «Браки совершаются на небесах» – Годвин усмехнулся, словно уличив самого себя в противоречии, он в таких случаях всегда усмехается. В самом деле, это не был брак по любви – оба были слишком взрослые, да что там, просто немолоды, да и не того нрава и круга, чтобы влюбиться, очертя голову... Это не был брак по расчету, потому что мисс Мери Уолстонкрафт не была богата, так же как и сам Годвин. Впрочем, нищими тоже оба не были, конечно.

Они сошлись так, как должны были сходиться люди в том будущем, которое прозревал Годвин, – сошлись характерами, образом мыслей, направлением деятельности. Оба знали, что современный брак есть один из худших видов собственности и что вопреки естеству он связывает людей на всю жизнь. О ненормальности такого устройства, как и о ненормальности существования самой собственности, Годвин писал в своей «Политической справедливости». Но как компромисс этот брак был идеален, только, пожалуй, оба слишком долго шли к нему.

При естественном гигиеническом воспитании, при развитии медицины, которое Годвин ожидал в будущем, женщины смогут безбоязненно рожать до старости, как это и происходит у животных. Быть может, будущее это не столь и отдалено: стоит только всем – всем! – Годвин поднимает палец, будто назидая огню, понять, что следует жить, согласуясь с установлениями природы и, следовательно, разума.

Против доводов разума аргументов нет, а если есть, то имя им – мракобесие. Годвин хмурится, вспоминая сразу целую толпу: тут и рамолический король, и Берк, и целая вереница бывших товарищей-священников, и даже тот водопроводчик, который объяснял свое нежелание участвовать в забастовке, так как высшим долгом почитал верность королю. Если бы он захотел слушать Годвина, то понял бы очень многое, но он не захотел. Он мог, но не хотел, и Годвин не знал, как ему быть с этим нехотением множества людей. Видимо, тут все же нужна определенная степень просвещенности, павиану ведь не докажешь, что нужно жить в согласии с природой. Он, впрочем, и так живет в согласии с природой – Годвин опять усмехнулся и тут же поморщился – он слишком разгорячился в мыслях, что недопустимо.

Да, имя противникам – легион, а имя каждого легионера – необразованность. Но с другой стороны, даже Уильям Блейк, человек религиозный и склонный к мистике, иначе – тому же мракобесию, произнес как-то фразу, позволяющую надеяться, что и столь противоречивые и

даже загадочные – Годвин не любил непонятного – люди могут, а значит, должны, созидать царство разума внутри себя. Вот эта фраза: «Если правда высказана так, что ее поняли, в нее нельзя не поверить». Отлично сказано!

Итак, естественные законы просты и разумны. Когда общество будет жить, повинуюсь только естественным законам, законам разума, государство за ненадобностью отомрет. Эксплуатацию человека человеком и частную собственность Годвин считал несовместимыми с «природой» человека. «Разрешение проблемы собственности и есть тот ключ, которым отпирается все здание политической справедливости, – писал он тогда. – Ничто так сильно не искажает наши суждения и мнения, как ошибочные представления о значимости богатства». Подлинное равенство немыслимо без уничтожения частной собственности.

Годвин верит, что строй, основанный на коллективной собственности, приведет к искоренению пороков и торжеству справедливости, так как в духе просвещенных теорий считал, что характер человека определяется средой, в которой протекает его жизнь. Только среда делает человека добрым или злым.

Будущий общественный строй представляется как совокупность небольших общин. В мелких общинах нет мотивов для внутренних столкновений, граждане лучше знают друг друга и легче могут приспособиться к свободной жизни без государства.

Отвергая государственную власть в принципе, Годвин признает все же необходимость сохранения в течение некоторого переходного периода «рудиментов» государственной организации, некоторых, хотя и ослабленных, форм «насилия». «Переходный период» необходим для того, чтобы человечество освободилось от своекорыстия и пороков, чтобы очистить поле для свободной деятельности разума.

Годвин был свидетелем того, как быстрый рост капиталистической индустрии еще больше разорял и закрепощал простой люд; поэтому в своем трактате он решительно высказывался против общественной организации труда, против мануфактур и мечтал о таком развитии техники, которое позволило бы объединенным в коллективы рабочим вновь разойтись по отдельным производственным ячейкам, вернуться к мелкому индивидуальному производству. Продукт труда граждан он рассматривает как общественное достояние и единственным справедливым принципом распределения считает принцип распределения по потребностям. Годвин уверен, что с исчезновением богатства и бедности потребности станут гораздо более умеренными, он приветствует сокращение потребностей и призывает к возможному упрощению жизни.

Природа и общество, изменяясь и развиваясь, движутся по пути прогресса, подчиняясь необходимости, диктуемой естественными законами. Люди сами по себе не бывают ни добродетельны, ни злонравны. Условия общественной жизни делают их такими, какие они есть, и Годвин убежден, что люди непременно станут добры и благожелательны, если поймут, что это необходимо для пользы всех, без которой не может быть пользы каждого. Понятие справедливости для него было несовместимо с каким-либо насилием и принуждением, и он осуждал не только сословную иерархию и государственную власть, но и супружеские узы и родительские права.

Годвин ждал, что идеалы Просвещения претворятся в жизнь мирным разумным путем. «Сердце мое в эти первые триумфальные месяцы французской революции билось с нарастающим чувством свободы», – вспомнил он. Годвин проявлял тогда бурную деятельность, посещая клубы, салоны, его приглашали на встречи, обеды, выступления, он общался с выдающимися людьми того времени: с сэром Джеймсом Макинтошем, известным публицистом, историком, философом и политическим деятелем, с драматургом, прозаиком, поэтом Томасом Холкрафтом, активным деятелем Лондонского корреспондентского общества. В 1794 году Холкрафт был приговорен к смертной казни за государственную измену – самое распространенное в те

времена обвинение, – но потом помилован вместе с вождями лондонского Общества революции.

В индустриальных городах появились сотни тайных рабочих клубов, которые сообщали покупали и читали вслух «Политическую справедливость». Нашлись и другие формы распространения книги: группы рабочих печатали на свои средства дешевые брошюры, содержащие изложение наиболее актуальных социальных проблем, выдвинутых Годвином.

В предисловии к завершеному труду Годвин изложил свою позицию с таким спокойным достоинством, которое свидетельствовало о недюжинной храбрости этого давно отрекшегося от христианского вероучения проповедника. «Автор считает своим долгом содействовать торжеству истины, и какое бы несчастье ни обрушилось на него, он будет черпать утешение в том, что служил истине.

Автор отдает себе отчет в том, что против его книги восстанут все предрассудки человеческого разума. Но правда бесстрашна и торжествует над любым врагом. Не требуется особой твердости, чтобы спокойно взирать на пламя ложных сиюминутных страстей, ибо автор предвидит наступление покоя и мира, освещаемого ровным светом разума». Более того, Годвин отважился направить один экземпляр трактата Французскому Национальному конвенту, зная, что всякое сношение между воюющими странами считалось государственным преступлением. Не испугала философа даже та чрезвычайная мера, которая была применена к Томасу Пейну за его «Права человека».

Популярность Годвина в то время была так велика, что его памфлет «Критика обвинения, представленного главным судьей лордом Эйрном большому жюри присяжных», вышедший за несколько дней до суда над 12 английскими радикалами – известными писателями и учеными, обвиняемыми в государственной измене, сыграл на суде решающую роль. В результате все присяжные голосовали за оправдание обвиняемых. Это был случай по тем временам беспрецедентный.

И еще, вероятно, думал Годвин в ту тяжелую для него Рождественскую ночь 1797 года о будущем своем романе «Приключения Калеба Уильямса». Пусть герой из низов пройдет все круги английской политической несправедливости, но в итоге одержит победу – разум обязан одолевать ужасы неразумного общественного устройства. И читатель, даже самый неразвитый, пройдя вслед за Калемом Уильямсом – своим Вергилием – все круги ада и выйдя к свету, неизбежно поймет, как должно строить жизнь – на принципах политической справедливости.

И все-таки провал зиял между этими полюсами, и если Годвин-философ знал, что это обман зрения, то Годвин-писатель сердился. Его раздражало, что вот он, его читатель, картонная фигурка без лица или с лицом того водопроводчика, что, впрочем, одно и то же, стоящая на краю пропасти, должен, должен, должен прыгнуть на другой ее край – он боится!

Ну давай же, давай, там ждет тебя долгая, сытая, счастливая жизнь – прыгай! Решился, прыгнул – и не доскочил, полетел в бездну. Сам ли виноват, что не рассчитал прыжка, или пропасть эта велика для человеческих сил и требует сверхчеловеческих – Годвин не знает. Нет, сам виноват, но... Годвин сердится на эту пустоту, поселившуюся в доме и мире, он деятельный человек и привык, особенно в последние месяцы, работой прогонять тоску.

Но сегодня особая ночь, несуществующая сама по себе и для себя, зазор между прошлым и будущим, пустота.

Годвин – теперь я вижу его в профиль – оглядывается, вслушиваясь в темноту, и – как хорошо! – там, в опустевшей глубине дома, не пусто, там плачет маленькая Мери.

Сейчас, вероятно, Годвин встанет и пойдет к дверям детской. Он постучит и спросит, отчего не спит девочка. Женщины, нянька и кормилица, торопливо приведут себя в маломальски приличный вид и позволят ему войти. Кормилица, оказывается, все-таки бегала в церковь и опоздала вернуться к сроку, вот ребенок и напоминал криком, что ему пора есть, а женщины еще торопились договорить о подробностях сегодняшней службы.

А может быть, стряхнув оцепенение, Годвин все-таки сядет к своему изогнутому, похожему на половинку скрипки, орехового дерева письменному столу?

Или отправится спать?

Я не знаю, магический мой кристалл погас, как только Годвин начал подниматься из кресел.

Судьба распорядилась так, что книги Годвина станут едва ли не сильнейшим средством формирования характера и воли юного Шелли.

Позже, когда уже женатый, имеющий двоих детей Шелли встретится с Мери Годвин, этой воли не хватит, чтобы противиться судьбе.

Или, напротив того, мы имеем право сказать, что поэт шагнул ей навстречу?

5

В отроческие годы дух Шелли заметно окреп, в лодочных походах отвердели мускулы; теперь в стенах Итона – этой маленькой миниатюре большого мира – Шелли без страха противостоял всему, что было, по его убеждению, «низко и подло».

Естественные науки, математика и астрономия были не обязательными предметами в Итоне, но в то время, когда там учился Шелли, лекции по точным наукам читал некий Адам Уокер, талантливый самоучка-изобретатель и неудачный предприниматель.

Пробудившийся у Шелли еще в Сион-Хаусе интерес к науке продолжал расти. Он прилежно посещал лекции старого Уокера; тайны неба, земли и электричества всё сильнее захватывали его ум. Для мальчика наука превращала мир в страну чудес. Она казалась ему истинной магией XIX века. «Наша земля – одна из звезд, и где-то, может быть, тоже есть люди и цивилизация». Всякие научные положения Перси воспринимал скорее эмоционально, чем рационально, он любил наблюдать ночное небо, это наводило его на размышления не столько научные, сколько поэтические. «Ночь, – вспоминал один из его школьных товарищей, – была его праздником». Шелли освещал небо им самим сделанными фейерверками. Две волшебные страны – наука и фантазия – лежали рядом. Приезжая домой на каникулы, мальчик с увлечением показывал «чудеса» химии и электричества. Он постоянно изготавливал какие-то странные воспламеняющиеся жидкости. Его лицо всегда было выпачкано пороховой гарью, а руки обожжены кислотой. На белых платяцах его помощниц и обожательниц тоже рыжели и чернели пятна. Однажды он чуть не взорвал себя и сестер, в другой раз едва не отравился какой-то смесью. Для своих опытов он купил электрическую машину и гальваническую батарею. Он мечтал открыть эликсир жизни или найти философский камень.

В Итоне Шелли тоже не прекращал свои таинственные опыты. Однажды один из наставников заглянул в комнату своего ученика и увидел такую сцену: освещенный синим светом спиртовки Перси повторял: «Духи Земли и Воздуха... Духи Земли и Воздуха...» «Что вы тут делаете?» – удивился учитель. «С вашего позволения, вызываю дьявола», – прошептал мальчик.

Один из друзей Шелли позже писал, что из него мог бы получиться выдающийся химик. Я думаю – вряд ли. Не химия, а именно алхимия привлекала его, дисциплина, где крупницы науки были подвластны поэзии, дисциплина, в почти неизменном виде дожившая с древнейших времен до наших дней, – вся обращенная назад, к старинным рецептам, вся окутанная тайной, равно привлекательная для ученого и поэта: великий Ньютон оставил математику и механику, в которых преуспел как никто, ради алхимии, всё же в XIX веке способной более привлечь поэта, нежели ученого.

Обитая в этих сферах, Шелли забывал о своих обидах и огорчениях.

В 1810 году – последнем году, проведенном в Итоне, он как никогда был здоров духовно и физически, занимался греблей и даже принимал участие в регатах.

6

Последние рождественские каникулы Шелли вместе со своим кузеном Медвином провел дома. Зима была необыкновенно мягкой. Захватив с собой ружья, юноши бродили в окрестных полях и лесах. Перси удивлял кузена меткостью, он попадал в бекасов на лету, когда их тяжелые стаи поднимались над прудом Филд-плейса. «В такие дни, – вспоминал Медвин, – Шелли давал волю воодушевлению, и его увлекательный острый разговор электризовал и пьянил меня».

В эти юные годы, как, впрочем, и во все последующие, Шелли не покидало стремление к самосовершенствованию. К этому времени относятся первые поэтические и прозаические опыты Шелли. Все они были непременно в соавторстве с кем-нибудь, чаще всего со старшей сестрой Элизабет, с Томасом Медвином или кузиной Харриет Гроув, в которую юноша был страстно влюблен. Зимой 1809 года Шелли и Медвин начали писать роман с многозначительным названием «Кошмар». Героиней его была ведьма-великанша. Потом они написали романтическую повествовательную поэму и послали ее издателю Томасу Кэмпбеллу – ответ был малоутешительным. Кэмпбелл нашел во всей поэме только две хорошие строчки:

«Казалось, будто ангел издал
Вздых жалобного сочувствия».

Летом того же года Шелли принялся за новый роман «Застроцци» о жизни разбойника и прекрасной дамы, которая, «казалось, вся была соткана из нежности и чистоты». Соавторами Перси были по-прежнему Элизабет и Харриет. Часто они уходили на кладбище и там, сидя на каком-нибудь могильном холмике в тени старой церкви, продумывали ход повествования; юные сочинители вступали в открытое соперничество с авторами популярных готических романов. Очень скоро книга была закончена и в апреле следующего года опубликована. Издатель рискнул заплатить за нее сорок фунтов, в чем очень скоро раскаялся. Творение юных энтузиастов не привлекло читателей и не имело никакого спроса.

Там же, на сельском кладбище, Шелли излагал своим зачарованным слушательницам ту философию бытия, которую он постиг к своим 18 годам. С одной стороны – порок: короли, священники, богачи; с другой – добродетель: философы и бедняки. С одной стороны – религия, поддерживающая тиранию, с другой – Годвин и его «Политическая справедливость». Но особенно много и горячо они говорили о любви. «Сущность любви, – рассуждал Перси, – свобода. Любовь невозможна без взаимного доверия, для нас губельна любая форма принуждения, и прежде всего узы брака». – «Но что же дурного в этих узах? – вступала в спор Харриет. – Ведь они добровольны». – «А если добровольны, то бесполезны, разве связывают того, кто сам сдается в плен?» – возражал Шелли. Но девушки не сдавались. Они, как и следовало ожидать, принимали любую ересь своего обожаемого наставника, кроме матримониальной.

В этих своих рассуждениях Перси, конечно, следовал Годвину: «Брак основан на ложной предпосылке, что склонности и желания двух индивидов должны совпадать в течение долгого времени», а это неизбежно приведет к «противоречиям, ссорам и несчастью». «Брак является проявлением дурной стороны закона, ибо пытается увековечить выбор, сделанный в какой-то один момент жизни». Годвин считал, что полный отказ от института брака будет иметь только положительные последствия. «Сексуальные отношения в таком случае подпадут под ту же систему, как любая другая форма дружбы. Мужчина при этом будет усердно хранить расположение той женщины, совершенства которой, на его взгляд, превосходят совершенства всех других женщин». Последнее звено в этой системе рассуждений было неожиданным: «Конец,

положенный институту брака, будет означать прекращение господства родителей над детьми». Утопические представления Годвина об идеальных общественных и личных отношениях превратились в его собственные представления. А прямолинейный рационализм суждений учителя казался единственно верным. Как было уже отмечено, Шелли вообще был человеком, воспринимавшим близкие ему теоретические положения как непосредственное «руководство к действию», и при столкновении их с реальностью мучительно переживал «отступничество».

А пока юный философ преданно любил свою кузину, красота которой, по его мнению, была достойна кисти Рафаэля. Во время разлуки молодые люди страстно переписывались. Предчувствие счастья так подхлестнуло творческую энергию Шелли, что новые стихи, литературные замыслы, мистификации возникали в его мозгу с такой же пестрой щедростью, как земные дары из рога изобилия. Любопытна история выхода в свет и немедленного изъятия из продажи первого сборника стихотворений Шелли, Медвина и некоей особы под именем «Казир». Издатель Стокдейл, которого Шелли уговорил финансировать сборник, прочитал книгу только через несколько дней после ее выхода и к ужасу своему обнаружил, что все стихи, за исключением одного, оказавшегося переводом, сентиментальны и нелепы. Стокдейл сразу же изъясил сборник из продажи, но десяток экземпляров уже успел разойтись, и то, что попало в руки рецензентов, вызвало уничтожающую критику: «Стихи, опубликованные неизвестными нам авторами, не имеют ничего общего с поэзией, это просто откровенная мазня».

Заканчивая раздел о детских и отроческих годах Шелли, невозможно не дать слова самому герою, отважно вступившему в переписку с самим Уильямом Годвином:

*Кесвик,
10 января 1812
Сэр!*

Не может быть сомнения, что Ваши занятия я ценю намного выше того удовольствия или пользы, которые достались бы на мою долю, если бы Вы пожертвовали для меня своим временем. Как бы мало времени ни заняло прочтение этого письма и сколько бы удовольствия ни доставил мне ответ, я не настолько тщеславен, чтобы воображать, что это удовольствие важнее того счастья, которое Вы способны принести за это же время другим.

Вы жалуетесь, что обобщенность моего письма лишает его интереса; что Вы не видите во мне индивидуальности. Между тем, как ни внимательно я знакомился с Вашими взглядами и сочинениями, мне необходимо познакомиться с Вами, прежде чем я смогу подробнее рассказать о себе. Как бы чисты ни были побуждения, едва ли непрошенное обращение незнакомца может иметь иной характер, кроме самого обобщенного. Спешу, однако, исправить свою оплошность. Я – сын богатого человека из Сассекса. С отцом у меня никогда не было согласия во взглядах. С детства мне внушали и от меня требовали безмолвного послушания; требовали, чтобы я любил, потому что это – мой долг, – едва ли нужно говорить, что принуждение возымело обратное действие. Я пристрастился к самым неправдоподобным и безумным вымыслам. Старинные книги по химии и магии я поглощал с восторгом, почти готовый в них уверовать. Ничто внутри меня не сдерживало моих чувств; внешних препятствий было множество, и мне их ставили весьма сурово; но их действие было весьма кратковременным.

Из читателя романов я стал их сочинителем; еще не достигнув семнадцати лет³, я опубликовал два – «Сент-Ирвин» и «Застроцци», которые оба совершенно не характерны для меня сейчас, но выражают мое тогдашнее

³ «Застроцци» опубликован Шелли в 17 лет, а «Сент-Ирвин» – в 18.

душевное состояние. Я велю послать их Вам; не считайте, однако, что это налагает на Вас обязательство тратить попусту Ваше драгоценное время. Прошло уже более двух лет с тех пор, как я впервые познакомился с Вашей бесценной книгой о «Политической справедливости»; она открыла мне новые, более широкие горизонты, повлияла на образование моей личности; прочитав ее, я сделался мудрее и лучше. Я перестал зачитываться романами; до этого я жил в призрачном мире; теперь я увидел, что и на нашей земле достаточно такого, что может будить сердце и занимать ум; словом, я увидел, что у меня есть обязанности. Вы представляете себе, какое действие могла оказать «Политическая справедливость» на ум, уже стремившийся к независимости и обладавший особой восприимчивостью.

Сейчас мне девятнадцать лет; в то время, о котором я пишу, я учился в Итоне. Едва у меня сложились мои нынешние взгляды, как я стал их проповедовать. Это делалось без малейшей осторожности. Меня дважды исключали⁴, но принимали обратно по ходатайству отца. Я поступил в Оксфорд...»

Здесь оборвем покамест цитирование, отметив «в уме» три важные для нас вещи:

Шелли чуть-чуть приукрашивает себя, слегка приуменьшив возраст создания первых романов и преувеличив кары, которым он подвергся в Итоне; сам предмет этой простительной лжи показывает, что он уже осознал себя литератором и бунтовщиком; «поэтом-бунтарем», сказали бы мы, пародируя романтический штамп, которому в том 1812 году еще только предстояло стать явлением.

Шелли не ищет сугубо профессионального признания маститого писателя. «Старик Державин», благословляющий нового поэта, не был знаком английской литературе – литературное признание находило там другие пути.

И наконец, чувство собственного достоинства, столь заметное в этом письме благоговящего юноши, столь свойственное англичанам вообще и столь долго пробивающее себе дорогу в общечеловеческое бытие.

Возможно, Шелли не согласился бы с этой мыслью, но он обрел его не только вопреки семье и школе, но и благодаря им.

⁴ Тимоти дважды советовали забрать сына из Итона.

Глава II

1

10 апреля 1810 года Перси Биши Шелли занес свое имя в книгу студентов университетского колледжа Оксфорда. В Оксфорд его сопровождал отец, который в юности сам был студентом того же колледжа. По случайному совпадению Перси поселился даже в том же доме, где когда-то жил Тимоти Шелли. Новичку отвели комнату в первом этаже, до сих пор известную как «Кабинет Шелли».

В те годы система образования в Оксфорде во многом отдавала средневековью, и это мало вдохновляло юношу, стремившегося порвать с прошлым и принадлежать только настоящему и будущему. Обязательные предметы университетского колледжа – грамматика, латынь, логика и богословие – преподносились так упрощенно, что не вызывали у Шелли никакого интереса, но и не требовали особого труда. Испытывая отвращение к схоластике богословия, он посещал этот предмет наименее регулярно. Тут на память приходили рассуждения Годвина о том, что слишком дорогое университетское образование не оправдывает себя, ибо науки, преподаваемые в университете, как правило, представляются в том их состоянии, в каком они были лет 100 тому назад. Система обучения, которая давно не подвергалась коренному преобразованию, становится неизбежно консервативной, она не может соответствовать истинному интеллекту, постоянно стремящемуся к совершенствованию. Очарование Оксфорда заключалось лишь в сравнительной свободе студенческой жизни. Долгих часов с послеобеденного времени до полуночи хватало и на загородные прогулки, и на беседы с его единственным оксфордским другом Томасом Джефферсоном Хоггом, а главное, на самостоятельные занятия теми предметами, которые его увлекали – философией, метафизикой, химией и поэзией.

Хогг был юношей эпикурейского склада, он наслаждался жизнью, принимал ее такой, какая она есть. Ему по душе была поэзия и литература вообще, поскольку она доставляла удовольствие и помогала уходить от повседневных забот. Он живо подмечал любую фальшь и несправедливость, был наблюдателен, насмешлив, остроумен. Шелли был для него «божественным поэтом», каким ему самому никогда не удалось стать. Все шесть месяцев оксфордской жизни Шелли известны нам только с его собственных слов и по воспоминаниям Хогга. К воспоминаниям Хогга следует, однако, относиться с осторожностью. Он считал себя не столько мемуаристом, сколько романистом-сатириком, высмеивающим современные нравы. Живописуя двух восторженных чудаков-студентов, он привнес в описание внешности, привычек и характера Шелли и себя самого значительный элемент художественного вымысла и, вполне вероятно, сочинил некоторые эпизоды для большей выразительности. В портрете Шелли, созданном Хоггом, была своя правда, в некоторых отношениях более важная, чем правда обыденного факта, – здесь отразилось своеобразное состояние искусства и человека романтической эпохи, уникальная и не вполне ясная связь песни и певца, характерная для этого времени. Однако сосредоточившись на интерпретации Шелли как романтического человека-чудака, пылкого энтузиаста, всецело погруженного в мир собственных идей и чувств и неприспособленного к жизни, Хогг дал искаженную картину, из которой никак не вытекает главное – поэтические свершения Шелли. Споры нет, отрицать за поэтом свойства, подмеченные Хоггом, было бы нелепо, но только ими ограничиться нельзя. Между тем линия толкования Шелли, начатая Хоггом, имела и продолжает иметь множество сторонников. Отсюда берет начало тот «мотыльковый» Шелли, которого воспевала критика викторианского периода и о котором с пренебрежением говорят многие, в том числе и замечательные деятели литературы XX века, принимая его за Шелли подлинного. Увы, на совести Хогга и более серьезные

грехи: прямая фальсификация документов, рассчитанных на то, чтобы представить Шелли, да и самого себя, в наиболее выгодном свете. Будем снисходительны: вероятно, слишком дороги для преуспевающего адвоката, каким стал Хогг, были увлечения да и грехи юности – и он захотел сделать их «безгрешными», скрыть их подлинные мотивы, заменив их стереотипными для положительных романтических героев.

Но так или иначе, у нас нет других материалов об оксфордском периоде жизни Шелли.

Хогг так описывает их знакомство:

«Это было в конце октября 1810 года, за обедом я оказался рядом с новичком, впервые появившимся в зале. Он был хрупким и выделялся своей молодостью даже за нашим столом, где все были очень молоды. Рассеянный, задумчивый, он мало ел и не знакомился ни с кем из нас. Не знаю, как нам удалось разговориться, не помню, с чего началась беседа и особенно как она перешла к вопросам весьма удаленным от тех, которые мы могли затронуть вначале. Новичок высказал энтузиазм и восхищение поэтичностью и образностью германской литературы. Я не согласился с ним. Он защищал оригинальность немецких писателей, я доказывал, что им не хватает естественности.

«Какую из современных литератур можно сравнить с немецкой?» – спросил он. «Итальянскую», – ответил я. Наш спор был так горяч, что только когда слуги пришли убрать со столов, мы едва заметили, что остались одни». Юноши отправились в комнату Хогга, он зажег свечи, Шелли сел, притих и, к удивлению Хогга, вдруг сказал, что не может продолжать спора, так как не знает ни итальянской, ни немецкой литературы, Хогг с облегчением признался в том же.

После лекций Шелли обычно врвался в комнату Хогга, швырял в угол книги и шапку, подбегал к камину и надолго замирал, отогревая над огнем руки. При этом, несмотря на высокий рост, ему почти не приходилось наклоняться, он так сильно сутулился, что руки свисали до колен. Хогг оставил нам подробное описание внешности своего друга: худощавый, даже хрупкий, с красиво посаженной головой; его маленькое лицо с очень мелкими правильными чертами было необыкновенно живым и одухотворенным, его обрамляла шапка длинных и очень густых каштановых волос. Разбросанные в разные стороны вьющиеся пряди создавали впечатление необычного беспорядка. В то время, когда было принято стричься коротко по-солдатски, длинноволосый порывистый юноша обращал на себя внимание. Он допускал еще одно, наиболее серьезное, по оксфордским правилам, отступление от общепринятой нормы: почти не носил пресловутую мантию, а разгуливал в своей одежде. При этом Шелли, как вспоминает Хогг, одевался не по моде, он руководствовался исключительно соображениями удобства. Огромные шейные платки, которые носили тогда, его раздражали, он обычно даже не застегивал воротника рубашки, а всегда элегантно верхнее платье было небрежно распахнуто у ворота.

Сам Хогг был не так бесплотен, как его друг, но тоже достаточно высок и худощав, а большой с горбинкой нос придавал его профилю некоторую хищность. Вечерами Шелли шагал по комнате Хогга и облекал в слова тот поток мысли, который не давал ему покоя: химия и ее чудеса, приготовление искусственным путем пищевых продуктов, создание с помощью каких-то химических соединений водных пространств в африканских пустынях, отопление северного и южного полюсов, улучшение климата самой Англии – этому должна была служить энергия гальванических батарей. Задумывался он и о воздухоплавании, об аэростатах. Образ его мышления был отнюдь не научным; он парил в сфере чистой мечты, пренебрегая вычислениями и требованиями техники.

От научных проблем он легко переходил к анализу субстанции души, к вопросам существования. Наконец свечи в подсвечниках начинали мигать и гаснуть. Шелли спохватывался и убегал. Хогг освещал огарком свечи лестницу и слушал поспешные шаги друга, пересекающего темную тишину «Большого квадрата» – так издавна прозвали университетский двор.

Много лет спустя Хогг писал, что в его памяти все еще звучат эти легкие бесстрашные шаги.

Часто вечера проводились в келье юного химика и поэта – среди того первозданного хаоса, который, казалось, специально поддерживался здесь. На прожженном во многих местах ковре возвышалась груда бумаг, книг, ботинок, глиняной посуды, патронов, пистолетов, склянок, тиглей; ее увенчивали самые ценные для Шелли вещи: электрическая машина, микроскоп и воздушный насос. Так же был загроможден стол. Ящики шкафа, где хранилась коллекция монет, часто оставались выдвинутыми. Иногда, чтобы увеличить это ощущение хаоса, Шелли специально дергал за рычаг своей электромашинки, производя неожиданную вспышку.

Одно время друзья горячо обсуждали метод, благодаря которому с помощью электрического воздушного змея человек смог бы в какой-то мере управлять грозой. С небес они спускались на землю и снова взмывали уже в иную стихию – поэзию. Из груды книг выхватывалась какая-нибудь одна, необходимая именно в тот момент, и Шелли начинал читать вслух. Пальцы, переворачивающие страницы, и сами страницы книг были обычно покрыты пятнами от кислот, растворителей и других химикатов. Но часам к шести вечера Шелли прерывал самую оживленную беседу или серьезный спор, валился на софу или прямо на ковер головой к горящему камину и засыпал так глубоко, что сон этот напоминал летаргию. А в десять часов он так же внезапно вскакивал, вздохмачивал и без того всклокоченные волосы и сразу же вступал в прерванный спор или начинал декламировать свои и чужие стихи. Говорил он быстро, энергично, глаза его блестели.

В хорошую погоду друзья, освобождаясь к часу дня от лекций, отправлялись в бесконечные луга при слиянии реки Червелл с Темзой. Шелли брал с собой пару пистолетов и хороший запас пороха и пуль. Он прикладывал к стволу дерева или к отвесному берегу мишень и развлекался стрельбой или собирал камешки и швырял их в воду. Если ему удавалось удачно бросить камень и тот несколько раз подпрыгивал на водной глади, прежде чем над ним расходились круги, Шелли кричал от восторга. Эта забава так же увлекала его, как несколько лет спустя пускание бумажных корабликов.

Прогулки часто затягивались, и друзья, к радости Шелли, который ненавидел общие сборища, опаздывали к обеду. Иногда они возвращались уже при луне по притихшим узким улочкам Оксфорда, мимо закрытых зеленных и мясных лавок, винных погребков, мимо неосвещенных готических громад церковей Святого Мартина, Богоматери, мимо древнейшего собора Святого Фридсватда... Дома обычно находился большой запас эля и сыра, но Шелли оставлял это в пользу друга, предпочитая хлеб и чай. В кармане у него всегда был кусок булки, и он жевал ее во время занятий. По крошкам на ковре нетрудно было определить, в каком углу он сегодня сидел, уткнувшись, как обычно, в книгу. Таков был у Шелли естественный выбор пищи, прежде чем он осознанно пришел к вегетарианству. «Пища поэта – любовь и слава», – шутил он.

2

В Оксфорде, как и в Итоне, умственное развитие Шелли шло своим собственным путем. В любое время суток Шелли можно было увидеть с книгой в руках; он читал за столом, в постели, во время прогулок – и не только в загородной тиши, на безлюдных тропинках, но и на городских улицах. Если кто-то пытался задеть, оскорбить эксцентричного длинноволосого юношу с книгой в руках, то Шелли всегда сворачивал в сторону, по возможности избегая столкновения. В оксфордский период он с особым азартом читал описания путешествий на Восток. Возрастало его увлечение античной литературой и философией – правда, многих античных авторов он читал в переводах на французский или с французского на английский. Он нередко носил с собой карманные издания Плутарха и Эврипида, но особенно в те месяцы занимал его

создатель объективного идеализма; увлечение Платоном вполне сочеталось в сознании Шелли с его непрекращающимся интересом к сочинениям французских просветителей, интересом, который в свою очередь привел его к изучению философских идей Локка – крупнейшего представителя английского материализма XVII века, оказавшего особенно большое влияние на развитие материалистической философии Франции XVIII века. Джон Локк первым обосновал принцип материалистического сенсуализма – происхождение всех знаний из чувственного восприятия внешнего мира. Одновременно с трудами Локка Шелли штудировал работы другого английского философа-скептика, агностика середины XVIII века Давида Юма, пришедшего в конце своей жизни к тому, что результат всех философских изысканий убеждает лишь в одном – в слепоте и слабости человека. В учении Юма Шелли особенно импонировали его взгляды на религию – по Юму, религия не может быть основой морали, ибо она дурно влияет на нравственность и на гражданскую жизнь. По мнению Хогга, скептицизм Юма и материализм Локка несколько охлаждали разгоряченный ум Шелли и помогали ему спуститься на тот уровень, с которого становились опять различимыми реальные очертания мира.

Шелли был добр от природы, причем его доброта и жалостливое участие, которое он проявлял к любому живому существу, всегда носили характер активной немедленной помощи. Жестокое обращение с животными приводило его в ярость. Он немедленно бросался на помощь к безжалостно погоняемому ослу, к избиваемой собаке. С особой нежностью Шелли относился к детям. Хогг вспоминал, как однажды вечером, бродя в окрестностях Оксфорда, они заметили девочку, испуганную, замерзшую, видимо, голодную. Ничего вразумительного девочка рассказать не могла: папа и мама куда-то ушли и велели ждать их. Шелли тут же побежал к ближайшему коттеджу раздобыть еды. Когда беспечные родители наконец вернулись, они были до слез растроганы, увидев, как длинноволосый юноша держит на руках их малышку и поит ее из деревянного жбана молоком.

Во время другой прогулки по окрестностям Оксфорда Шелли подружился с шестилетней цыганочкой и ее маленьким братом. Потом он нередко навещал их шатер, играл с ними. Свой особый интерес к детям Шелли объяснял философски, ссылаясь на теорию Платона, утверждающую, что все знания – это лишь оживший опыт предыдущего существования. Причем и это философское положение он воспринимал со свойственной ему чрезмерностью.

Как-то, встретив на мосту женщину с грудным младенцем, Шелли озадачил и испугал ее, попросив разрешения поговорить с ребенком.

- Не расскажет ли ваш малыш что-нибудь о своей предыдущей жизни, мадам?
- Он еще не говорит, сэр.

– Этот малыш заговорит, если захочет. Ему ведь всего несколько недель. Способность речи не могла совершенно исчезнуть за такой короткий срок.

3

Все эти месяцы в Оксфорде Шелли писал много, легко и радостно. Издатель Стокдейл, несмотря на неудачу со злосчастным томиком стихов Шелли и компании, согласился опубликовать новый литературный опыт юноши. Трудно сказать, что руководило Стокдейлом: вера ли в талант молодого человека или интерес к тому большому имени, которое он должен был унаследовать. Рукопись «Сент-Ирвин, или Розенкрейцер» была вчерне готова к первому апреля, когда Шелли еще числился учеником Итона, во всяком случае в этот день он написал в Лондон своему новому другу музыканту-любителю Эдварду Грэхэму, что если мерзавец Джек (возможно, издатель «Застроцци») не даст ему по крайней мере шестидесяти фунтов за четыре тома нового романа, то он его не получит.

Правда, к осени автор уже и не помышлял о большом гонораре, он мечтал только о том, чтобы Стокдейл не отказался опубликовать его сочинение и напечатал на титульном листе имя

автора. В сохранившихся отрывках из романа ясно чувствуется неудовлетворенность окружающим. Шелли говорит о девушке, которая решила бежать из «безжалостного дома», не боясь ни «суровой бури», ни «мрачных гор» вдаль. Она выходит к разбушевавшемуся озеру и ждет своего возлюбленного, чтобы вместе с ним навсегда покинуть эти места. Но судьба оказывается беспощадной. Любимый человек так и не добрался до берега, он утонул в разъяренных волнах озера.

В стихах оксфордского периода Шелли говорит о голоде, нищете и бесконечных страданиях, о том, как за счет народного труда утопают в роскоши короли, их приближенные и духовенство. Во всех этих стихах звучит уверенность, что «господство тиранов не вечно». В то же время Шелли с увлечением работал над большой поэмой.

Ненадолго отвлечемся: бурная эпоха, на которую пришлась молодость Шелли, эпоха, уже охарактеризованная нами экономически и политически, в общекультурном плане была крайне своеобразна и называлась эпохой романтизма. Романтизм – подробнее о нем позже – не узколитературное течение, это образ мышления и познания мира, существовавший в определенный исторический период. (Была даже романтическая медицина /животный магнетизм/ и романтические шахматы).

В теории романтизма великое место занимали пародия и ирония (в частности, самоирония), которым в предшествующие эпохи не уделялось внимания. Отсюда и склонность романтиков к мистификации. Знаменательно, что молодые люди, еще не знакомые с литературой романтизма, были детьми своей эпохи и улавливали ее общую направленность.

Однажды вечером Хогг застал друга за непривычным занятием – исправлением гранок. Он проглядел поэму, нашел несколько хороших строк и ярких мыслей, но при этом множество скучной нравоучительности, и тут же показал, как легко эти стихи превращаются в пародию. Шелли неистово хохотал. Они немедленно принялись за переделку поэмы, которая становилась все более абсурдной и веселой. Вместе азартно обдумывали, кому приписать авторство, и вдруг Хоггу пришла забавная идея – а что если сумасшедшей старухе Пег Николсон, все еще живущей в Бедламе? Она была знаменита тем, что в свое время пыталась зарезать кухонным ножом короля Георга III.

11 ноября 1810 года газета «Оксфорд гарольд» объявила читателям, что они могут приобрести «Посмертные записки Маргариты Николсон, поэму, найденную среди бумаг известной особы, которая покушалась в 1786 году на жизнь Короля. Издано Джоном Фитц-Виктором».

Хогг уверял, что об истинном авторе никто не догадался. Интригующее заглавие и «аристократическая» цена – полкроны за дюжину страниц – были достаточно хорошей рекламой: поэма разошлась быстро. Друзья с удовольствием видели знакомый томик в руках студентов и преподавателей. А между тем «Сент-Ирвин, или Розенкрейцер» находился уже в типографии. Печатался роман по частям, по мере того как автор переделывал свое сочинение. Нередко Перси писал очередную порцию, когда посыльный издательства уже ждал у него дома продолжения рукописи.

4

В оксфордский период Шелли особенно напряженно и мучительно искал разрешения основных вопросов философии и религии, и прежде всего вопроса о начале мира, о первом толчке.

«Я люблю все, что недостигаемо и прекрасно. Я хочу, страстно хочу убедиться в существовании Божества, – говорил он Хоггу. – Но христианство я отвергаю решительно». Одно время Шелли чрезвычайно привлекал деизм: мысль о том, что божество есть первопричина вселенной, казалась ему откровением. Воображение поэта побуждало Шелли одухотворять и оживлять отвлеченные законы природы. «Невозможно не верить в то, что существует душа

вселенной, – уверял он Хогга. – Может быть, я не в состоянии привести достаточно убедительные доказательства, но я думаю, что каждый лист на дереве, каждое самое крошечное насекомое – сами по себе уже и есть доказательство существования этой души». Однако под влиянием Гольбаха, Гельвеция, Дидро Шелли в конце концов отказывается принять Бога даже в виде «первопричины» вселенной, то есть полностью отвергает деизм и становится на материалистическую точку зрения. «Слово Бог является и будет являться источником бесчисленных ошибок до тех пор, пока оно не будет полностью изжито из философской терминологии», – заявил он весной 1811 года.

Главный аргумент, который выдвигал Шелли в своей борьбе против религии, – это противоречие религиозных догматов доводам разума. «Представьте себе, – писал он, – двенадцать человек заявляют вам, что они видели в Африке огромную змею в три мили длиной; они, представьте, поклялись, что эта змея питается исключительно слонами. Представьте себе, вам совершенно ясно из естествознания, что такого количества слонов, которыми могла бы прокормиться эта змея, не существует в природе. Поверите ли вы им? Вот здесь то же самое. Совершенно очевидно, что мы не можем, если только поразмыслим, верить в существование фактов, не согласующихся с общими законами природы». «Я использую слово “атеист”, – объяснял поэт уже в конце жизни, – чтобы выразить свое отвращение к предрассудкам. Я поднимаю его, как рыцарь поднимает перчатку, принимая вызов несправедливости».

Шелли вступил в переговоры со Стокдейлом относительно своей рукописи «Метафизические эссе в поддержку атеизма», а также о будущем романе. Видимо, в интересах Стокдейла было сохранить хорошие отношения и с талантливым, но бедным юношей, и с его деспотичным, но владеющим значительным капиталом отцом. Издатель начал вести двойную игру, предупредив отца об опасной дороге, на которую вступил его сын, якобы подстрекаемый мистером Хоггом. Такое предупреждение не могло не вызвать семейной паники. Приближались рождественские каникулы. Перси чувствовал, что встреча с отцом не сулит ничего доброго, но действительность оказалась печальнее предчувствий. 20 декабря Шелли написал из Филд-плейса Хоггу: «...теперь я окружен опасностями, в сравнении с которыми дьяволы, искушавшие святого Антония, ничто. Дома уничтожают меня за мои “ужасные принципы”. Я считаюсь парией, однако я игнорирую их и смеюсь над их безрезультатными усилиями. Отец хотел бы забрать меня из колледжа; я не пойду на это. Приближается ужасная буря, но я спокоен, как маяк, возвышающийся над бушующим морем. Я только восторженно улыбаюсь, глядя, как у моих ног разбиваются тщетные накаты волн...»

«Как ты знаешь, я всегда пытался просветить моего отца. Некоторое время он слушал мои выводы и допускал невозможность сверхъестественного вмешательства Провидения, крайнее неправдоподобие существования ведьм, призраков и других легендарных чудес. Но теперь, когда я попробовал опереться на то, в чем мы были единомышленны, он заставил меня замолчать, сказав: “Я верю, потому что я верю”».

«Моя мать вообразила, что я разбойник и нахожусь на пути к верной гибели. Ей кажется, что я хочу организовать атеистическую общину из моих маленьких сестер. Как все это нелепо!»

Обычные приготовления к встрече Рождества продолжались, но удовольствия теперь они никому не доставляли. Из сестер одна Элизабет оставалась Перси верным другом. А его любимая Харриет с каждым днем становилась все холоднее. Еще до возвращения Шелли в Филд-плейс она показала некоторые его письма своим родителям, и те запретили ей дальнейшую переписку с вольнодумцем, который, по общему мнению, «ничем хорошим не кончит». Харриет мечтала о балах, об успехе в обществе, но что мог дать ей этот человек, не признающий никаких общепринятых норм, отрицающий даже брак? Узнав о крамольных литературных замыслах своего кузена, она не только не встала на его защиту, но восприняла известие с таким же ужасом, как родители. Шелли слишком идеализировал свою Харриет и теперь, потеряв ее, казалось, потерял все. Он еще пытался объяснить ей, что его социальные и религиоз-

ные взгляды не должны влиять на их отношения. Но ее равнодушие делало все слова бесполезными, все убеждения бессильными: «Вы можете иметь какие угодно взгляды, – отвечала Харриет, – меня это не волнует, просто я не могу соединить свою судьбу с вашей». Вскоре Шелли узнал, что Харриет помолвлена с другим. В эти дни он впервые задумался о самоубийстве, заряженный пистолет постоянно был при нем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.